

Сергей АРУСТАМЯН

УКРАДЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Фотостенд у Малого зала филармонии. Под стеклом — огромный портрет Грачья Нерсисяна в роли Федора Прогазова из толстовского «Живого трупа». Я не могу без волнения вспомнить этот портрет и каждый раз будто заново испытываю пережитый некогда мною трепет. Это был Грачья Нерсисян — его лицо, его глаза и в то же время это был совершенно другой человек, — надломленный горем, крайне несчастный, отвергнутый всеми Протасов, с застывшей в глазах болью, с размазанными по лицу слезами, застигнутый кем-то в одну из самых тяжелых минут своей жизни.

Не стыжусь признаться: стоя у фотостенда, я подумал о том, что могу совершить кражу. Утром следующего дня, проходя мимо филармонии, я увидел пустую витрину. Стекло разбито, портрета нет. Нет только его портрета.

Впервые в жизни я позавидовал человеку, совершившему общественно наказуемый проступок.

...В Ереване, в Армении, наверное, живут тысячи людей по имени Грачья, но и сегодня, и десятки лет спустя, когда мы будем говорить «Грачья», перед нами всегда будет вставать образ одного человека — Грачья Нерсисяна Нерсисяна. Точно так же, как это было при его жизни.

Его любили за все. За то, что он есть, за то, что он вот такой, непохожий ни на кого другого; за его необыкновенную походку — я как сейчас вижу его, идущего по улице Абовяна с гордо откинутой и немного склоненной к левому плечу головой, с рукой на бедре и полой пиджака, закинутой за спину; за его глаза — живые, лучистые, необыкновенные глаза, глаза человека, казалось бы, немного рассеянно глядящего на мир, на людей, но проникающего своим взглядом в каждую душу.

Его любили и стар, и млад. Дворники прекращали пылить, когда рано поутру на улице появлялся Грачья. Ни один шофер не мог равнодушно проехать мимо, когда Грачья шел пешком. Поравнявшись с ним, машины замедляли ход и владельцы их приветливо распахивали дверцы. С ним здоровались и раскланивались все — студенты, рабочие, ученые, школьники. Пройдя мимо него, многие незаметно возвращались назад, чтобы еще раз пойти ему навстречу, еще раз пройти с ним рядом, еще раз посмотреть ему в лицо.

Кем он был для нас — Грачья Нерсисян? Великим талантом, большим артистом? Только ли этим продиктована наша неизменная, никогда не ослабевающая любовь к нему?

...Впервые я увидел его в октябре сорок восьмого года на республиканском радио. Радикомитет занимал тогда четвертый этаж в здании бывшей центральной почты. В «гонимые дни» здесь негде было упасть яблоку. Очередь шумная, беспокойная, от дверей бухгалтерии, где находилась касса, растянувшись по коридору, лентой вилась по лестницам и спускалась чуть ли не до второго этажа, кассиром был молодой парнишка. Зимой, в холод, он ходил в парусиновые туфлях, без пальто, без фуражки. Время было тяжелое. И вот к кассе подошел Грачья Нерсисян. Расписался в ведомости. Кассир протянул ему деньги. Не пересчитав, он сунул их в карман и ушел. Немного погодя вернулся. Положив на столик кассира пачку денег, сказал:

— Тут тысяча. Это лишние. Так ты в трубу вылетит. Деньги считать надо.

Сказал, повернулся и ушел. Я смотрю на кассира: стоит, как истукан, и молча вытирает катящиеся по щекам слезы.

В тот день я увидел Грачья Нерсисяна впервые. Не на экране, не на сцене, а в жизни. Увидел человека, который, еще до войны, первым поведал мне, неоперившемуся харьковскому мальчишке, о моем родном народе, о его характере, нравах, быте. Он рассказал об этом с экрана. Это был Пэпо. Это был Грачья Нерсисян. И вот он ушел, а я стою потрясенный этой неожиданной встречей с человеком, явившимся как бы из моих мальчишеских снов.

...Сектор выпуска — небольшая комнатка. Одновременно это и дикторская. Моя обязанность, как выпускающего, следить, чтобы подготовленные в редакциях передачи своевременно проходили в эфир.

Грачья Нерсисян приходил на радио часто. Его приглашали для участия в радиоспектаклях, читать стихи, рассказы. Передачи тогда не записывались на магнитофонную ленту, как это делается сейчас, а велись «живую», из студии прямо в эфир. А это — читать с листа в эфир — дело, требующее от артиста не только опыта, мастерства и таланта, а иной раз, в какие-то моменты непредусмотренные случаи, еще и находчивости. Да, изредка, как нужно было, чтобы че-

ловек у микрофона проявил находчивость!

В тот день он пришел за минут десять до начала передачи. Произведение знакомое, читал он его по радио не однажды, а поэтому, наверное, и позволил себе прийти с опозданием. Книга лежала у меня на столе. На нужной странице — вкладка. Он взял книгу и пошел в студию. Диктор открыл передачу и, неслышно прикрыв за собой дверь, оставил Граच्या Нерсисяна наедине с микрофоном. Я сижу и слушаю рассказ. И вдруг распаивается дверь и ко мне влетает звуко-режиссер — бледный, взволнованный. «Беги в студию, — кричит он, — там что-то случилось, быстрее!»

Я в студии. Подхожу к Граच्या Нерсисяну. Он мгновенно выключает микрофон и в ту предельно короткую, дозволенную для чтеца паузу, бросает: «Что делать?» И показывает на книгу. Тут же включает микрофон и продолжает, как ни в чем ни бывало, читать. Я смотрю на раскрытую книгу и чувствую, как волосы на мне становятся дыбом, а язык прилипает к горлу. Через минуту-полторы ему надо будет читать следующую страницу, а она совершенно чистая. Типографский брак... Что делать? А откуда я знаю, что можно сделать в такую минуту? Остановить передачу, извиниться перед радиослушателями? А Граच्या Нерсисян читает. Он доходит до злопобойной страницы, снова выключает микрофон, переворачивает ее, какие-то доли секунды вчитывается, вглядывается в продолжение рассказа, а потом, включив микрофон и зажмурив глаза, начинает читать по памяти. Читает чистую страницу. Минута, две. Я не слышу рассказа. Я только слышу его голос. Он кому-то что-то объясняет, возражает, потом вдруг заливается смехом, живописует...

Наконец, он облегченно вздохнул:

— Все!

Дальше он уже читал по книге.

— По-моему все в порядке, — сказал он, выйдя из студии с книгой под мышкой. — Может быть, я где-то присочинил, но, вобщем-то, рассказ не пострадал.

Я почти был уверен, что сейчас попытаюсь звонки, а потом пойду письма, но все обошлось как нельзя лучше.

Граच्या Нерсисян долго не мог забыть об этом случае. То и дело спрашивал:

— Ну, как, звонки были, письма были? Не будешь беспокоиться. Я книгу смотрел. Все так, как у меня. Правда, я наговорил чуть больше, чем в книге, но зато все, опять-таки, верно.

...Я смотрю на часы: шесть. А он должен был прийти в девять. Почему так рано?

— Рано? — блеснув глазами, вскочил с дивана, прошелся по комнате, взглянул на часы. — Это почему же рано? А, может, мне угодно передачу наизусть выучить? — Сдвинул брови, повелительно: — Да, так что я должен читать? Рассказ? — Раскрыл книгу, пробежал рассказ с начала до конца. — Хорошо, что я пришел на три часа раньше. Прелестный рассказ. Такие рассказы только наизусть, только!

Не привлекая к себе внимания, извлек из портсигара тоненькую, буквально величину со спичку, папироску. «Ракета»... Самые дешевые. Пачка — семьдесят копеек. Чиркнул спичкой. Стал курить жадно, страстно.

— Граच्या Нерсисян, закури «Казбек».

Он смотрит растерянно, виновато.

— Конечно, «Казбек» лучше, но «Ракета» — тоже папиросы.

И, очевидно, решив не секретничать:

— Деньги — категория непостоянная. Их может иной раз и не быть, правда? Так вот, иду я, значит, по улице и, перебирая в кармане залежавшуюся там мелочишку, мучительно думаю; к каким образом сделать, так чтобы у меня были папиросы. Самому подойти к киоску и просить «Ракету» — неудобно. Ее студенты не курят, а тут — народный артист. Словом, у почты постречался мне мальчишка лет десяти. Подошел я его и говорю: «Сынок мой, вон тетя продает папиросы. Дай ей эти деньги и попроси «Ракету». А сам подумал: «Знать он меня не знает, а поэтому и рассказывать никому не станет». А он подбегает ко мне и говорит: «Вот вам папиросы, товарищ Нерсисян». Что со мной было...

Расхохотался. Показал, как мальчик вручал ему папиросы, как гозорил «товарищ Нерсисян». Успокоившись, сказал:

— Теперь понятно, почему я пришел в шесть, а не в девять? Не могу сидеть дома, когда на меня деньги ведь — категория непостоянная. — И дальше уже как бы сам с собой. — А раз у меня есть в запасе три часа, почему бы мне не выучить наизусть этот прелестный рассказ?

...Он удивительно легко и просто чувствовал себя в обществе простых, не обремененных ни должностями, ни заслугами людей. Часовщик, парикмахер, рабочий, водитель такси, продавец газет, земледелец, — он испытывал какую-то острую потребность иной раз посидеть с ними, поговорить, выслушать их. И в этом не было ни рисовки, ни желанья «снизойти».

Центральный колхозный рынок. Это там, где сейчас кинотеатр «Россия». Он ходит по рядам, беседует с продавцами. Острые на слово, они перекликаются с ним шутками. Смеется он искренно, от души и всякий раз властно требует, чтобы и мы, один из его коллег, и я, должным образом, по достоинству оценили меткое слово, хлесткую шутку. И вдруг какой-то мужчина, в кожаном переднике и резиновых сапогах, прерывает нам дорогу и, обняв Граच्या Нерсисяна, просит всех нас «всего на одну минутку» зайти к нему в магазин.

Это был колхозный ларек. Бочки, бочки, бочки — и в них ужасно много вина. Не прошло и пяти минут, как одна из них, поставленная вверх дном, превратилась в стол. На столе — шашлык, лаваш, тархун...

— Варпет джан, — протягивая Граच्या Нерсисяну бокал с вином, говорит наш радушный хозяин, — позволь нам выпить за твоё здоровье.

Он говорит «нам», потому что рядом с ним уже стоят пятеро-шестеро его друзей. Как и он, они восхищенно смотрят на Граच्या Нерсисяна.

Ему предлагают стул.

— Что вы! — В глазах Граच्या Нерсисяна вспыхивает озорной огонек. — Я лучше вот сюда, а? — Он, как юноша, поднимается на стоящую в углу бочку и опускается на нее, скрестив ноги. — Вот это я понимаю! Вот так я давно не сидел! — Стал заворачивать в лаваш кусочки шашлыка. — А вино у вас, хорошее, вкусное.

— Одно слово — арташакское, — любезно, не без гордости поясняет хозяин.

Граच्या Нерсисян справляется об урожае, о житье-бытье, слушает, улыбается, а потом, все как же стремительно соскочив с бочки на пол, говорит:

— Ну, нам пора, спасибо.

Мы покидаем базар, идем по улице. Наш спутник, артист, чувствует себя неловко. Граच्या Нерсисян вопросительно смотрит на него.

— Что?

— По-моему, неудобно вот так, — волнуясь и путаясь, говорит артист. — Мне было стыдно...

Граच्या Нерсисян берет его за лапкан пиджака, притягивает его лицо к своему и близко-близко смотрит ему в глаза.

— Тебе стыдно? С людьми стыдно? — подчеркивая каждое слово, говорит он. И улыбающийся: — Ты со мной, тебе не должно быть стыдно.

И еще одна встреча. Мы стоим на троллейбусной остановке на углу Московской и проспекта Ленина. Граच्या Нерсисян торопится в театр. До его выхода оставалось немного, а тут, как назло, никакого транспорта. Он был чем-то очень взволнован. Я не мог знать причины и не решился спросить о ней. Мало ли что может быть у такого человека, как Граच्या Нерсисян! Мне приходилось видеть его не только в минуты счастья, но и в минуты горя. Никогда не забуду, как он безутешно рыдал, рассказывая о том, как его младший сынишка напоролся на ножницы. Он плакал горлом, не вытирая слез. Остро и тяжело переживал он мелкие обиды и боль, которые иной раз причиняли ему «по долгу службы». Он слишком был на виду, уж очень был незащищенным, а поэтому поранить его было весьма просто.

— Послушай, — неожиданно обратился он ко мне, — ты читаешь газеты?

— А как же!

— Ну и что?

Я не знал, что ответить.

— Ну и что? — снова повторил он вопрос. — Обо мне в газетах часто пишут?

— Часто, и не только в газетах.

— И ты читаешь обо мне?

— Всегда.

— Да-а, — протянул и умолк.

И минуту спустя: — И другие, наверное, читают, как ты думаешь?

— Все читают.

— А вот я о себе — никогда. — Если сын прочтет — прочтет, а нет, я — никогда.

В троллейбусе было полно народу, но «протискиваться» нам не пришлось. Кто-то позаботился, чтобы Граच्या Нерсисян не «раздавили», кто-то тут же уступил ему место. Предложили место и мне: благорасположение многочисленных поклонников Граच्या Нерсисяна всегда щедро распространялось и на окружающих его людей. Пока мы устраивались и обменивались любезностями с пассажирами, прошло немало времени и, по моему расчету, нам пора уже было

сходить. Я сказал ему об этом. Он кивнул головой и, приложив ладонь козырьком ко лбу, приблизил лицо к окну, чтобы разглядеть, где мы находимся. И... о, ужас!

— Мы не в ту сторону едем! — раздался в троллейбусе его голос. — Я опоздал, опоздал!

Он тут же вскочил с места и весь троллейбус пришел в движение.

— Водитель, останови, слышишь! Варпет не в ту сторону едет! Граच्या опаздывает, останови!

Троллейбус на всех парах мчался по Баграмяна. И пассажиры — двадцать, тридцать, сорок человек — все в один голос, проявляя крайнюю степень беспокойства, кричали:

— Водитель, останови! Дайте дорогу! Граच्या опаздывает! Надо достать машину!

Троллейбус остановился, как вкопанный. С десятков пассажиров высыпали на полутемную улицу и стали останавливать пронесившиеся автомашины.

Вскоре мы были в театре, а еще через несколько минут он вышел на сцену и по залу пронеслось, повторенное сотней уст:

— Граच्या...

Возвращались мы после спектакля пешком. Граच्या Нерсисян шел, тихо напевая какую-то песню. Иногда резко останавливался и задавал в упор какой-нибудь вопрос, внимательно выслушивал ответ, произносил, как бы подводящее черту, свое «ага» и снова продолжал напевать. Что означало это «ага» — сразу понять было трудно: то ли он согласен с твоим ответом, то ли нет. Немного погодя, все так же резко и неожиданно оборвал песню, он, уже, видимо, больше для себя, чем для собеседника, говорил: «Да, в Лермонтове чувства больше».

Граच्या Нерсисян обладал какой-то удивительно феноменальной способностью в одно и то же время думать и говорить о совершенно различных вещах. Он мог рассказывать о своей новой роли, а потом, казалось бы, без всякой связи с тем, о чем говорилось сию минуту, вспомнить о событиях двадцатилетней давности или же заговорить о своей семье. В таком перекосе мысли с одной темы на другую, когда нарушается привычное требование к соблюдению хотя бы видимой связанности и последовательности в рассуждениях, тайлась своя железная логика. Логика чувств, логика настроения, того самого, которым он жил каждую данную минуту.

— Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? О гетевском Вертере, о его страданиях. Величайшая для меня загадка этот великий человек — Гете. Никогда не могу понять, почему его Вертер, решившись на самоубийство, выстрелил себе в голову. Он же любил Лотту — самозабвенно, безумно. Как же он мог выстрелить в голову? Ведь любил же он не головой, а сердцем. Я думаю, Гете допустил ошибку непростительную, непоправимую. Может быть, это от того, что он был немцем? Ведь в большинстве своем немцы — народ рассудочный. Если бы мне привелось когда-нибудь сыграть молодого Вертера, я непременно выстрелил бы себе в сердце. — И немного помолчав, добавил: — Любить надо сердцем, и если из-за любви надо стреляться, то стрелять надо только в сердце.

Мы уже были у его дома, того самого, на стене которого в память о нем сейчас установлена мемориальная доска. Пора уже было прощаться, а мне не хотелось уходить, не вернув его каким-либо образом к разговору, начатому на троллейбусной остановке, когда мы собирались ехать в театр. Я все не мог забыть, как он был взволнован.

— Граच्या Нерсисян, к чему вы сегодня о газетах заговорили?

— О газетах?

Он как-то удивительно своеобразно причмокнул губами, от чего складки у его рта стали еще глубже. Шумно вдохнув и выдохнув воздух — первый признак, что он снова разволновался, полез в карман за сигаретами. Я протянул ему огонек.

— Для меня сегодня такой день, — начал он сбивчиво. — Позвонил мне утром Вахик Вартеян и говорит: «Граच्या, если можешь, зайди, пожалуйста, ко мне». Ну, я и пошел. Он посадил меня в кресло: сиди, говорит, и слушай. И стал читать. Обо мне. Книгу он, оказывается, написал. А потом газетный стал показывать. Наши, зарубежные. Сотни, сотни газет. И во всех этих газетах обо мне. Я и не знал, что так много написано. Умно, хорошо. Я ведь не читал. Если сын прочтет...

Голос его дрогнул. Он с трудом выговорил:

— Может, после что-то останется.. Ну, потом, тогда...

В этот день я видел его в последний раз.